

**Задания Заключительного этапа  
всероссийской олимпиады школьников по литературе**

**I ТУР**

**9 класс**

**I тур**

**Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ  
стихотворного – НА ВЫБОР!)**

*К.Паустовский*

**Старая рукопись**

Несколько лет назад я написал небольшой рассказ, но никому не показывал и не пытался печатать, а спрятал его между страницами старой рукописи. Там этот рассказ и пролежал до сегодняшних дней.

Так сурово я обошёлся с этим рассказом потому, что он показался мне излишне фантастическим и наивным. В нём не было тех твёрдых признаков действительности, какие придают достоверность любому вымыслу.

Когда я писал этот рассказ, было время всеобщего, но пока ещё умозрительного увлечения межпланетными полётами.

В 1961 году первый человек – лётчик Гагарин – облетел на космической ракете вокруг Земли. Первые его слова, когда он увидел Землю с высоты трёхсот километров, были очень простые: «Красота-то какая!» – сказал он.

Земля, окружённая чёрным мировым пространством, сияла под ним огромной синей сферой. Она напоминала полукружие прозрачного сапфира. В тех толщах воздуха, что были освещены боковым солнечным светом, горело радужное сияние.

Цвет воздушного пояса походил на голубизну южных водных пространств. Землю окружало как бы невесомое Средиземное море.

И весь этот праздничный океан света стремительно уносился в мировое пространство, ограждая и спасая Землю от космического холода и мрака.

Я старался представить себя на месте первого космонавта. По своему влечению к поэзии я вспомнил слова Фета о бездне мирового эфира, где «каждый луч, плотский и бесплотный, – твой только отблеск, о солнце мира, и только сон, только сон мимолётный!», вспомнил его стихи о том, как «на огненных розах живой алтарь мирозданья курится».

Под «огненными розами» поэт подразумевал, конечно, звёзды. Несколькими строками выше он сказал о них удивительно точные и какие-то трепетные слова: «в небе, как зов задушевный, мерцают звёзд золотые ресницы».

Слова поэта как бы вплотную приближали космос к нашему человеческому, земному восприятию.

Я подумал, что теперь у нас неизбежно возникнет совершенно новая волна ощущений. Раньше в нашем сознании присутствовало загадочное, грозное и торжественное ощущение Галактики, а теперь зарождается новая лирика межзвёздных пространств. Первые слова об этом сказал старый поэт, глядя из своего ночного сада на роящееся звёздное небо где-то в земной глуши около Курска. А вторые слова сказал лётчик, впервые увидев под собой земной шар.

Вот этот старый рассказ.

\* \* \*

Лётчик был оторван от Земли, брошен в мировое пространство, у него было очень мало надежды на возвращение «домой».

«Домом» он называл старую милую Землю. Там набегали прибои, пахло укропом, каменистые дороги блестели от солнца, дети играли в скакалку.

Лётчик по временам терял вес. Обморок – он казался хотя и невидимым, но живым существом – прикасался к нему, но лётчик отстранял его лёгкой рукой. И обморок, тоже, должно быть, потерявший вес, останавливался в нерешительности.

Неподвижное пространство стояло за окнами несущейся кабины, как летаргия. Ему не было ни начала, ни конца. Только звёзды напряжённо пылали сквозь эту непроницаемую ночь мира и напоминали чрезмерно пристальные глаза.

В кабине было тепло, но гибельный космический холод гремел снаружи и сверкал чёрными изломами, догоняя ракету.

Лётчик оцепенел. Он не мог собрать воедино свои разбросанные невесомые мысли. Иногда они метались, как пылинки в солнечном луче.

Лётчик думал, что ему было бы легче, если бы он был не один. Нет, пожалуй, было бы страшнее. Он кое-как примирился с мыслью о собственной гибели, но не хотел, чтобы вместе с ним умирал ещё другой человек.

Если бы этот человек был вместе с ним в кабине, то лётчик, должно быть, больше всего боялся, чтобы второй человек не начал вспоминать, как у него где-нибудь в Ливнах окуривают сады от весенних заморозков. Или внезапно вот здесь, в безнадежности мирового пространства, не полюбил бы милую женщину. Её он давно забыл. Он не оставил на Земле ни родных, ни друзей. Это обстоятельство он считал самым важным для себя в таком безумно рискованном деле, как полёт в космос. Но теперь, головокружительно удаляясь от Земли, он внезапно почувствовал бы нежность тёплой женской ладони на своих губах. И тут же, подобно взрыву, глубоко и стремительно вернулась бы к нему любовь. И он закричал бы от отчаяния и от силы этой возвращённой любви.

«Хорошо, – думал лётчик, – что я совершенно один, что во всём этом вечном пространстве я первый».

Но, думая так, он обманывал самого себя. Конечно, он погибнет, но никто не увидит его смерти и никто и никогда на столетия вперёд не узнает, кого он звал в своё последнее смертное мгновение.

Лётчик ждал времени, назначенного для спуска. Ещё там, на Земле, срок спуска был рассчитан с точностью до сотой секунды.

Он взглянул на часы и усмехнулся. Абсурд! Часы делят время на равные промежутки, а времени здесь, во вселенной, не было, нет, и не будет. Есть только движение.

Время существует только на Земле. Его выдумали люди, чтобы наглухо заключить в него свою жизнь. Зачем?

«Такой порядок!» – беспомощно подумал лётчик, но тут же сообразил, что было бы ужасно, если бы, предположим, Шекспир жил бесконечно и писал бы неизмеримое количество своих пьес одну за другой.

Вообще бессмертие было бы величайшей пыткой и величайшим несчастьем для человека. Как же радоваться каждой новой весне, если ты будешь знать, что впереди их – тысячи и миллионы и что каким бы ни был исключительным миг на Земле, он рано или поздно повторится? И не один раз.

Оцепенение нарастало, глушило звуки. Лётчику казалось, будто он навсегда освободился от власти Земли, от всех земных законов.

Можно было спокойно уходить в бесконечность вселенной, закрыв глаза, едва чувствуя скользящее движение ракеты.

Но ракета не бесконечна во времени. Каким-то уголком сознания лётчик понимал, что спокойствие – это смерть и что он, человек, так же смертен, как и этот сложнейший металлический снаряд, несущий его в Галактике.

Он заставил себя приоткрыть глаза, снова взглянул на часы, услышал тихие и настойчивые сигналы с Земли, похожие на ворчливое жужжание шмеля, и нажал рычаг торможения.

Земля начала разгораться, свет Солнца стал ярче. Под кабиной в неизмеримой глубине и мгле пронеслись размытые очертания Африки, похожей на желтоватую наклейку на школьной карте.

Вернулась тяжесть. Лётчик испытал её возвращение, как лёгкий вздох, как спасение. Он подумал, что если ему суждено погибнуть, то не здесь, в мёртвом одиночестве мирового пространства, а на милой Земле. И, может быть, в последнее мгновение он услышит запах развороченной ударом земли – сырой, свежий, похожий на настой ромашки и мяты.

Оцепенение сразу прошло. Земля неслась на него снизу вверх, нарушая все физические законы, неслась в пелене облаков и оловянном блеске морей.

– Кого я встречу первым на Земле? – подумал он и неожиданно для себя запел, хотя хорошо знал, что этого делать нельзя. Он пел первое, что ему пришло в голову:

На старой Калужской дороге,  
На сорок девятой версте...

Приземлился он не на старой Калужской дороге, а где-то в горах. Очевидно, он нажал рычаг торможения немного раньше, чем следовало.

Он вышел, тяжело качаясь, из кабины, упал на нагретую солнцем щебенчатую землю и так пролежал без движения несколько часов. Только к концу дня, когда солнце начало клониться к закату, он пошевелился, открыл глаза и прислушался. Ему показалось, что солнечный свет шумит усыпительно и равномерно. Загадочный этот звук заставил его сесть и осмотреться.

Он лежал в кустах низкорослого цветущего боярышника на склоне горы, падавшей отвесной стеной в море. Оно спокойно несло к подножию этой горы прозрачные волны. Переливы этих волн колебали на листве боярышника слабые отблески.

Лазурь простиралась вокруг от земли до зенита – густая и чуть туманная, рождённая великим безветрием южной благословенной страны.

Среди кустов боярышника были разбросаны, как брызги золотой воды, венчики дрока. А над боярышником и дроком просвечивало небо. На нём застыли на той страшной высоте, где он только что был, облака, похожие на розовые перья.

Хотелось пить. Флягу он оставил в кабине.

Где-то далеко, почти на самом краю земли, прокричал петух, а в кустах затрещала, вертясь, какая-то крошечная птица с красным горлом.

– Земля! – сказал лётчик и погладил листья боярышника. – Скоро вечер. Пожалуй, запоют соловьи.

– Земля! – повторил он громче, и тяжёлый железный ком подкатил к горлу. Он плакал, не скрываясь. Он плакал и думал, что имеет на это право. Никогда до этих пор он не знал, не видел, не думал, что Земля так трогательна и так нежна.

– За одну минуту... – сказал он медленно и остановился. – За одну минуту жизни на этой Земле я отдам всё. За одну минуту!

Голова у него кружилась. В кустарнике что-то мелькнуло – белое и лёгкое, – и он закричал:

– Ко мне!

Он кричал, он звал кого-то, но ему казалось, будто он беспомощно шепчет. Он не слышал собственного голоса. Он не видел, как девочка лет двенадцати – обыкновенная мечтательная девочка, любившая бродить по склонам этой горы и представлять себя Золушкой, изгнанной из дому, – бежала к нему.

Она задыхалась. Она сразу поняла, что это лежит разбившийся лётчик. Она плакала и не вытирала слёз. Они слетали с её побледневших щёк и брызгали на её руки и светлое платье. Но после каждой слезы глаза девочки сияли всё больше и больше.

Лётчик, очнувшись, увидел в этих глазах всё, чего только можно ждать хорошего от жизни: лазурь, и блеск, и нежность, и страх за его жизнь, и любовь, такую же робкую, как венчик совершенно крошечного горного цветка, щекотавшего его щёку.

– Вы оттуда? – спросила шёпотом девочка.

– Да. Я оттуда.

– Я помогу вам. Пойдёмте! – сказала она, всё ещё плача. Лётчик протянул ей руку. Она взяла её и вдруг прижалась к ней заплаканными глазами.

– Земля! – сказал лётчик, пытаясь подняться. – Ты – земля! Ты – радость!

У него всё время кружилась голова.

– Да, да, – торопливо повторяла девочка, не понимая, о чём говорит лётчик. – Вы обопритесь на меня. Я сильная.

Лётчик взглянул на её худенькие загорелые руки все в веснушках и ласково потрепал их.

Вот, собственно, и всё. Я мог бы кое-что добавить к этому рассказу, но не стоит нарушать старый текст. Да и что я могу добавить? Только своё глубокое, неумирающее, завладевшее мной ещё в юности восхищение перед жизнью, перед человеческим мужеством, перед своей страной, перед девической нежностью.

*Таруса. Апрель 1961 года*

*Д.Самойлов*

### **Дом-музей**

Потомков ропот восхищённый,  
Блаженной славы Парфенон!

*Из старого поэта*

...производит глубокое...

*Из книги отзывов*

Заходите, пожалуйста. Это  
Стол поэта. Кушетка поэта.  
Книжный шкаф. Умывальник. Кровать.  
Это штора – окно прикрывать.  
Вот любимое кресло. Покойный  
Был ценителем жизни спокойной.

Это вот безымянный портрет.  
Здесь поэту четырнадцать лет.  
Почему-то он сделан брюнетом.  
(Все учёные спорят об этом.)

Вот позднейший портрет – удалой.  
Он писал тогда оду «Долой»  
И был сослан за это в Калугу.  
Вот сюртук его с рваной полрой –  
След дуэли. Пейзаж «Под скалой».  
Вот начало «Послания к другу».  
Вот письмо: «Припадаю к стопам...»  
Вот ответ: «Разрешаю вернуться...»  
Вот поэта любимое блюдо,  
А вот это любимый стакан.

Завитушки и пробы пера.  
Варианты поэмы «Ура!»  
И гравюра: «Вручение медали».  
Повидали? Отправимся дале.

Годы странствий. Венеция. Рим.  
Дневники. Замечанья. Тетрадки.  
Вот блестящий ответ на нападки  
И статья «Почему мы дурим».  
Вы устали? Уж скоро конец.  
Вот поэта лавровый венец –  
Им он был удостоен в Тулузе.  
Этот выцветший дагерротип –  
Лысый, старенький, в бархатной блузе  
Был последним. Потом он погиб.

Здесь он умер. На том канапе,  
Перед тем прошептал изречение  
Непонятное: «Хочется пе...»  
То ли песен. А то ли печенья?  
Кто узнает, чего он хотел,  
Этот старый поэт перед гробом!

Смерть поэта – последний раздел.  
Не толпитесь перед гардеробом...

**10 класс**  
**I тур**

**Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР!)**

*Юрий Олешиа*

## Лиомпа

Мальчик Александр строгал на кухне планки. Порезы на пальцах у него покрывались золотистыми съедобными корками.

Кухня выходила во двор; была весна, двери не закрывались, у порога росла трава, блестела пролитая на камень вода. В сорном ящике появлялась крыса. В кухне жарили мелко нарезанную картошку. Зажигали примус. Жизнь примуса начиналась пышно: факелом до потолка. Умирал он кротким синим огоньком. В кипятке прыгали яйца. Один жилец варил раков. Живого рака брал он двумя пальцами за талию. Раки были зеленоватого, водопроводного цвета. Из крана вылетали вдруг сами по себе две-три капельки. Кран тихо сморкался. Потом наверху заговаривали несколькими голосами трубы. Тогда сразу определялись сумерки. Один лишь стакан продолжал сиять на подоконнике. Он получал сквозь калитку последние лучи солнца. Кран разговаривал. Вокруг плиты начиналось разнохарактерное шевеление и потрескивание.

Сумерки были прекрасны. Люди ели подсолнухи, раздавалось пение, комнатный жёлтый свет падал на тротуар, ярко озарялась съестная лавка.

В комнате, по соседству с кухней, лежал тяжело больной Пономарёв. Он лежал в комнате один, горела свеча, флакон с лекарством стоял над головой, от флакона тянулся рецепт.

Когда приходили к Пономарёву знакомые, он говорил:

– Поздравьте меня, я умираю.

К вечеру у него начинался бред. Флакон смотрел на него. Рецепт тянулся, как шлейф. Флакон был бракосочетающейся герцогиней. Флакон назывался «тезоименитство». Больной бредил. Он хотел писать трактат. Он разговаривал с одеялом.

– Ну, как тебе не стыдно?.. – шептал он.

Одеяло сидело рядом, ложилось рядом, уходило, сообщало новости.

Больного окружали немногие вещи: лекарство, ложка, свет, обои. Остальные вещи ушли. Когда он понял, что тяжело заболел и умирает, то понял он также, как велик и разнообразен мир вещей и как мало их осталось в его власти. С каждым днём количество вещей уменьшалось. Такая близкая вещь, как железнодорожный билет, уже стала для него невозвратно далёкой. Сперва количество вещей уменьшалось по периферии, далеко от него; затем уменьшение стало приближаться всё скорее к центру, к нему, к сердцу – во двор, в дом, в коридор, в комнату.

Сперва исчезновение вещей не вызывало в больном тоски.

Исчезли страны, Америка, возможность быть красивым или богатым, семья (он был холост)... К исчезновению этих вещей болезнь не имела никакого отношения: они ускользали по мере того, как он старел, – а настоящая боль пришла тогда, когда ему стало ясно, что и те вещи, которые постоянно двигались вровень с ним, также начинают удаляться от него. Так, в один день покинули его улица, служба, почта, лошади. И тут стремительно

пошло исчезновение рядом, под боком: уже ускользнул из власти его коридор, и в самой комнате, на глазах у него, прекратилось значение пальто, дверной задвижки, башмаков. Он знал: смерть по дороге к нему уничтожает вещи. Из всего огромного и праздного их количества смерть оставила ему только несколько, и это были те вещи, которых он никогда бы, если бы это было в его власти, не допустил в своё хозяйство. Он получил подсов. Он получил страшные посещения и взгляды знакомых. Он понял, что не в силах защищаться против вторжения этих непрошенных и ненужных, как ему всегда казалось, вещей. Но теперь они были единственны и непреложны. Он потерял право выбирать вещи.

Мальчик Александр делал летающую модель.

Мальчик был гораздо сложнее и серьезнее, чем думали о нём остальные. Он резал пальцы, истекал кровью, сорил стружками, пачкал клеем, выпрашивал шёлк, плакал, получал подзатыльники. Взрослые признавали себя абсолютно правыми. А между тем мальчик действовал совершенно по-взрослому, больше того, – он действовал так, как может действовать только некоторое количество взрослых: он действовал в полном согласии с наукой. Модель строилась по чертежу, производились вычисления, – мальчик знал законы. Он мог бы противопоставить нападкам взрослых объяснение законов, демонстрацию опытов, но он молчал, потому что не считал себя вправе показаться более серьёзным, чем взрослые.

Вокруг мальчика располагались резиновые жгуты, проволока, планки, шёлк, лёгкая чайная ткань шёлка, запах клея. Сверкало небо. Насекомые ходили по камню. В камне окаменела ракушка.

К работающему мальчику подходил другой мальчик, совсем маленький, голый, в синих трусах. Он трогал вещи и мешал. Александр гнал его. Голый резиновый мальчик ходил по дому, по коридору, где стоял велосипед. (Велосипед педалью был прислонён к стене. На обоях педаль провела царапину. На этой царапине как бы и держался велосипед у стены.)

Маленький мальчик приходил к Пономареву. Голова малыша маячила над бортом кровати. У больного виски были бледные, как у слепого. Мальчик подходил вплотную к голове и рассматривал. Он думал, что в мире всегда было и бывает так: бородатый человек лежит в комнате на кровати. Мальчик только вступил в познание вещей. Он не умел ещё различать разницу во времени их существования.

Он повернулся и стал ходить по комнате. Он видел паркетные плитки, пыль под плинтусом, трещины на штукатурке. Вокруг него слагались и распределялись линии, жили тела. Получался вдруг световой фокус, – мальчик спешил к нему, но едва успевал сделать шаг, как перемена расстояния уничтожала фокус, – и мальчик оглядывался, смотрел вверх и вниз, смотрел за печку, искал – и растерянно разводил руками, не находя. Каждая секунда создавала ему новую вещь. Удивителен был паук. Паук улетел при одной мысли мальчика потрогать паука рукой.

Уходящие вещи оставляли умирающему только свои имена.

В мире было яблоко. Оно блистало в листве, легонько вращалось, схватывало и поворачивало с собой куски дня, голубизну сада, переплёт окна. Закон притяжения поджидал его под деревом, на чёрной земле, на кочках. Бисерные муравьи бегали среди кочек. В саду сидел Ньютон. В яблоке таилось множество причин, могущих вызвать ещё большее множество следствий. Но ни одна из этих причин не предназначалась для Пономарёва. Яблоко стало для него абстракцией. И то, что плоть вещи исчезала от него, а абстракция оставалась, – было для него мучительно.

«Я думал, что мира внешнего не существует, – размышлял он, – я думал, что глаз мой и слух управляют вещами, я думал, что мир перестанет существовать, когда перестану существовать я. Но вот... я вижу, как всё отворачивается от ещё живого меня. Ведь я ещё существую! Почему же вещи не существуют? Я думал, что мозг мой дал им форму, тяжесть и цвет, – но вот они ушли от меня, и только имена их – бесполезные имена, потерявшие хозяев, – роятся в моём мозгу. А что мне с этих имён?»

С тоской смотрел Пономарёв на ребёнка. Тот ходил. Вещи неслись ему навстречу. Он улыбался им, не зная ни одного имени. Он уходил, и пышный шлейф вещей бился за ним.

– Слушай, – позвал ребёнка больной, – слушай... Ты знаешь, когда я умру, ничего не останется. Ни двора, ни дерева, ни папы, ни мамы. Я заберу с собой всё.

На кухню проникла крыса.

Пономарёв слушал: крыса хозяйничает, стучит тарелками, открывает кран, шуршит в ведре.

«Эге, она судомойка», – подумал Пономарёв.

Тут же в голову пришла ему беспокойная мысль, что крыса может иметь собственное имя, неизвестное людям. Он начал придумывать такое имя. Он был в бреду. По мере того как он придумывал, его охватывал всё сильнее и сильнее страх. Он понимал, что во что бы то ни стало надо остановиться и не думать о том, какое имя у крысы, – вместе с тем продолжал, зная, что в тот самый миг, когда придумается это единственное бессмысленное и страшное имя, – он умрёт.

– Лиомпа! – вдруг закричал он ужасным голосом.

Дом спал. Было раннее утро – начало шестого. Не спал мальчик Александр. Дверь из кухни была открыта во двор. Солнце было ещё где-то внизу.

Умиравший шёл по кухне, согнувшись в животе и вытянув руки с повиснувшими кистями. Он шёл забирать вещи.

Мальчик Александр бежал по двору. Модель летела впереди него. Это была последняя вещь, которую увидел Пономарёв.

Он не забрал её. Она улетела.

Днём в кухне появился голубой, с жёлтыми украшениями гроб. Резиновый мальчик смотрел из коридора, заложив за спину руки. Пришлось долго и всячески поворачивать гроб, чтобы пронести в дверь. Задели полку, кастрюлю, посыпалась штукатурка. Мальчик Александр влез на плиту и

помог, поддерживая ящик снизу. Когда гроб проник наконец в коридор, сделавшись сразу чёрным, резиновый мальчик, шлёпая сандалиями, побежал впереди.

– Дедушка! Дедушка! – закричал он. – Тебе гроб принесли.

1928

*А.Тарковский*

### Поэт

Жил на свете рыцарь бедный...

*А.С. Пушкин*

Эту книгу мне когда-то  
В коридоре Госиздата  
Подарил один поэт;  
Книга порвана, измята,  
И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличьи  
У поэта нечто птичье  
И египетское есть;  
Было нищее величье  
И задёрганная честь.

Как боялся он пространства  
Коридоров! постоянства  
Кредиторов! Он как дар  
В диком приступе жеманства  
Принимал свой гонорар.

Так елозит по экрану  
С реверансами, как спьяну,  
Старый клоун в котелке  
И, как трезвый, прячет рану  
Под жилеткой на пике.

Оперённый рифмой парной,  
Кончен подвиг календарный, –  
Добрый путь тебе, прощай!  
Здравствуй, праздник гонорарный,  
Чёрный белый каравай!

Гнутым словом забавлялся,  
Птичьим клювом улыбался,

Встречных с лету брал в зажим,  
Одиночества боялся  
И стихи читал чужим.

Так и надо жить поэту.  
Я и сам сную по свету,  
Одиночества боюсь,  
В сотый раз за книгу эту  
В одиночестве берусь.

Там в стихах пейзажей мало,  
Только бестолочь вокзала  
И театра кутерьма,  
Только люди как попало,  
Рынок, очередь, тюрьма.

Жизнь, должно быть, наболтала,  
Наплела судьба сама.  
1963

## 11 класс I тур

**Проведите целостный анализ текста (прозаического ИЛИ стихотворного – НА ВЫБОР!)**

*С.Довлатов*

### **Жизнь коротка**

Левицкий раскрыл глаза и сразу начал припоминать какую-то забытую вчерашнюю метафору... «Полнолуние мятной таблетки...»? «Банановый изгиб полумесяца...»? Что-то в этом роде, хоть и значительнее по духу.

Метафоры являлись ночью, когда он уже лежал в постели. Записывать их маэстро ленился. Раньше они хранились в памяти до утра. Сейчас, как правило, он не без удовольствия забывал их. Упущенный шанс маленького словесного приключения.

Левицкий кинул взгляд на белый, амбулаторного цвета столик. Заметил огромный, дорической конфигурации торт. Начал пересчитывать тонкие витые свечи.

– Господи, – подумал Левицкий, – ещё один день рождения.

Эту фразу стоило приберечь для репортёров:

«Господи! Ещё один день рождения! Какая приятная неожиданность – семьдесят лет!»

Он представил себе заголовки:

«Русский писатель отмечает семидесятилетие на чужбине». «Книги юбиляра выходят повсюду, за исключением Москвы». И наконец: «О, Господи, ещё один день рождения!»...

Левицкий принял душ, оделся. Захватил почту. Жена, видимо, уехала за подарками. Герлинда – нечто среднее между родственницей и прислугой – обняла его. Маэстро прервал её словами:

– Ты упомянута в завещании.

Это была их старая шутка.

Она спросила:

– Чай или кофе?

– Пожалуй, кофе.

– Какой желаете?

– Коричневый, наверное.

Потом он расслышал:

– Вас ожидает дама.

Быстро спросил:

– Не с косой?

– Привезла вам какую-то редкость. Я думаю – книгу. Сказала – инкунабула.

Левицкий, улыбаясь, произнёс:

– De ses mains tombe le livre,

Dans lequel elle n'avait rien lu.

(«Из рук её выпала непрочитанная книга...»)

Регина Гаспарян сидела в холле больше часа. Правда, ей дали кофе с булочками. Тем не менее, всё это было довольно унижительно. Могли бы пригласить в гостиную. Благоговение в ней перемешивалось с обидой.

В сумочке её лежало нечто, размером чуть поболее миниатюрного дамского браунинга «Элита-16».

Регина Гаспарян происходила из благородной обрусевшей семьи. Отец её был довольно известным преподавателем училища Штиглица. Будучи армянином, сел по делу космополитов. В пятидесятом году следователь Чуев бил его по физиономии альбомом репродукций Дега.

Мать её была квалифицированной переводчицей. Знала Кашкина. Встречалась с Ритой Ковалёвой. Месяц сопровождала Колдуэлла в его турне по Закавказью. Славилась тяжёлым характером и экзотической восточной красотой.

В юности Регина была типичной советской школьницей. Участвовала в самодеятельности. Играла Зою Космодемьянскую. Отец, реабилитированный при Хрущёве, называл её в шутку «Зойка Комсомодеянская».

Наступила оттепель. В доме известного художника Гаспаряна собирались молодые люди. В основном поэты. Здесь их подкармливали, а главное – терпеливо выслушивали. Среди них выделялись Липский и Брейн.

Все они понемногу ухаживали за красивой, начитанной, стройной Региной. Посвящали ей стихи. В основном, шутливые, юмористические. Брейн писал ей из Сочи в начале Даманского кризиса:

Жди меня, и я вернусь, только очень жди,  
Жди, когда наводят грусть жёлтые вожди...

Наступили семидесятые годы. Оттепель, как любят выражаться эмигрантские журналисты, сменилась заморозками. Лучшие друзья уезжали на Запад.

Регина Гаспарян колебалась очень недолго. У её мужа-физика была хорошая, так сказать, объективная профессия. Сама Регина окончила иняз. Восьмилетняя дочь её немного говорила по-английски. У матери были дальние родственники в Чикаго.

Семья начала готовиться к отъезду. И тут у Регины возникла неотступная мысль о Левицком.

Романы Левицкого уже давно циркулировали в самиздате. Его считали крупнейшим русским писателем в изгнании. Его даже упоминала советская литературная энциклопедия. Правда, с использованием бранных эпитетов.

Даже биографию Левицкого все знали. Он был сыном видного меньшевистского деятеля. Окончил Горный институт в Петербурге. Выпустил книгу стихов «Пробуждение», которая давно уже числилась библиографической редкостью. Эмигрировал с родителями в девятнадцатом году. Учился на историко-литературном отделении в Праге. Жил во Франции. Увлекался коллекционированием бабочек. Первый роман напечатал в «Современных записках». Год тренировал боксёров в фабричном районе Парижа. На похоронах Ходасевича избил циничного Георгия Иванова. Причём, буквально на краю могилы.

Гитлера Левицкий ненавидел. Сталина – тем более. Ленина называл «смутьяном в кепочке». Накануне оккупации перебрался в Соединённые Штаты. Перешёл на английский язык, который, впрочем, знал с детства. Стал единственным тогда русско-американским прозаиком.

Всю жизнь он ненавидел хамство, антисемитизм и цензуру. Года за три до семидесятилетнего юбилея возненавидел Нобелевский комитет.

Все знали о его чудачествах. О проведённой мелом линии через три комнаты его гостиничного номера в Швейцарии. (Жене и кухарке запрещалось ступать на его территорию.) О многолетнем безнадежном иске против соседа, который чересчур увлекался музыкой Вагнера. О его вечеринках с угощением, изготовленным по древнегреческим рецептам. О его дуэли с химиком Булавенко, усевшимся в подпитии на клавиши рояля. О его знаменитом высказывании: «Где-то в Сибири должна быть художественная литература...»

И так далее.

О его высокомерии ходили легенды. Так же, как и о его недоступности. Что, по существу, одно и то же. Знаменитому швейцарскому писателю, добивавшемуся встречи, Левицкий сказал по телефону:

«Заходите после двух – лет через шесть...»

О чём говорить, если даже знакомство с кухаркой Левицкого почиталось великой удачей...

В общем, Регину Гаспарян спросили:

– Что ты собираешься делать на Западе?

В ответ прозвучало:

– Многое будет зависеть от разговора с Левицким.

Я думаю, она хотела стать писательницей. Суждениям друзей не очень верила. Обращаться к советским знаменитостям не хотела. Ей не давала покоя кем-то сказанная фраза:

«Шапки долой, господа! Перед вами – гений!»

Кто это сказал? Когда? О ком?..

Накануне отъезда Регина позвонила трём знакомым книжным спекулянтам. Первого звали Савелий. Он сказал:

– «Пробуждение» – это, мать,дохлый номер.

– В смысле?

– Вариант типа «я извиняюсь».

– То есть?

– Операция «туши свет».

– Если можно, выражайтесь попроще.

– Товар вне прейскуранта.

– Что это значит?

– Это значит – цены фантастические.

– Например?

– Как говорится – от и до.

– Не понимаю.

– От трёх и до пяти. Как у Чуковского.

– От трёх и до пяти – что? Сотен?

– Ну.

– А у Чуковского – от двух.

– Так цены же растут...

Регина позвонила другому с фамилией или кличкой – Шмыгло. Он сказал:

– Что это за Левицкий? И что это ещё за «Пробуждение»? Не желаете ли Сименона?..

Третий спекулянт ответил:

– Юношеский сборник Левицкого у меня есть. К сожалению, он не продаётся. Готов обменять его на четырёхтомник Мандельштама.

В результате состоялся долгий тройной обмен. Регина достала кому-то заграничный слуховой аппарат. Кого-то устроили по благу в Лесотехническую академию. Кому-то досталось смягчение приговора за вымогательство и шантаж. Ещё кому-то – финская облицовочная плитка. На последнем этапе фигурировал четырёхтомник Мандельштама. (Под редакцией Филиппова и Струве.)

Через месяц Регина держала перед собой тонкую зеленоватую книжку. Издательство «Гиперборей». Санкт-Петербург. 1916 год. Иван Левицкий. «Пробуждение».

Регина знала, что у самого Левицкого нет этой книги. Об этом шла речь в его знаменитом интервью по «Голосу Америки». Левицкого спросили:

– Ваше отношение к юношеским стихам?

– Они забыты. Это были эскизы моих же последующих романов. Их не существует. Последним экземпляром знаменитый горец растопил буржуйку у себя на даче в Кунцеве.

Зимой Регина получила разрешение на выезд. Дальше было всякое. Отвратительная сцена на таможне. Три месяца нищеты в Ладисполе. Душное нью-йоркское лето, когда они с мужем боялись ночью выйти из гостиницы. Первая контора, откуда её уволили с формулировкой «излишнее рвение». Несколько рассказов в эмигрантской газете, за которые ей уплатили по тридцать долларов. Затем стремительное восхождение мужа – его неожиданно пригласила фирма «Эксон». А значит, собственный домик, поездки в Европу, разговоры о налогах...

Прошло лет шесть. Регина выпустила первую книгу. Она вызвала положительную реакцию. Кстати, одним из рецензентов был я.

Все эти годы она добивалась знакомства с Левицким. Через Гордея Булаховича познакомилась с его восьмидесятилетней кузиной. Но к этому времени та успела поссориться со знаменитым родственником. Конкретно, они заспорили – где именно стояла баня в родовом поместье Левицких – Ховрино.

Регина обращалась к Янсону, протоиерею Константину, дочери Зайцева – Ольге Борисовне.

Старый писатель Янсон ответил:

«Левицкий сказал обо мне Эдмунду Уилсону, что я, извините, говно...»

Отец Константин написал ей:

«Левицкий не христианин. Он слишком эгоистичен для этого. Адресочком его, виновен, не располагаю...»

Зайцева-Рейнольдс прислала какой-то берлинский адрес и записку:

«Последний раз я видела этого несносного мальчика в тридцать четвёртом году. Мы встретились на премьере “Тангейзера”. Он, помнится, сказал:

– Такое впечатление, что неожиданно запели ожившие картонные доспехи.

С тех пор мы не виделись. Боюсь, что его адрес мог измениться».

И всё-таки Регина получила его швейцарский адрес. Как выяснилось, адрес был у издателя Поляка. Регина написала Левицкому короткое письмо. Тот откликнулся буквально через две недели:

«Адрес вы знаете. После шести я работаю. Так что, приходите утром. И, пожалуйста, без цветов, которые имеют обыкновение вянуть. Постскриптум: не споткнитесь о мои ботинки, которые я ночью выставляю за дверь».

Сидя в холле, Регина задумалась. Почему этот человек живёт в отеле? Может быть, ему претит идея собственности? Надо бы задать ему этот вопрос. И ещё – что Левицкий думает о Солженицыне? Ведь они такие разные...

– Здравствуйте, Иван Владимирович!

– Моё почтение, – ответил рослый, коротко стриженный господин.  
Затем он, не садясь, поинтересовался:

– Выпьете что-нибудь?

– У меня кофе... А вы?

Левицкий улыбнулся и медленно продекламировал:

Я пью неразбавленный виски,  
Пью водку с зернистой икрой,  
А друг мой, писатель Левицкий,  
Лишь бабочек мучить герой...

– Это стихи одного моего приятеля.

И затем, после двух секунд молчания:

– Чем, сударыня, могу быть вам полезен?

Регина слегка наклонилась вперёд:

– Надо ли говорить, что я ваша давняя поклонница. Особенно ценю «Далёкий берег», «Шар», «Происхождение танго». Всё это я прочитала ещё дома. Риск лишь увеличивал эстетическое наслаждение...

– Да, – кивнул Левицкий, – я знаю. Это что-то вроде Поль д-Кока или Мопассана. Читаешь в детстве с риском быть застигнутым... Извините, чем могу служить?

Регина чуть смутилась. Главное, не делать пауз... А он и вправду женоненавистник...

– Я знаю, что у вас сегодня день рождения.

– Спасибо, что напомнили. Ещё один день рождения. Приятная неожиданность – семьдесят лет.

Левицкий вдруг перешёл на шёпот. Глаза его странно округлились:

– Запомните главное, – сказал он, – жизнь коротка...

Регина, преодолев смущение, выговорила:

– Разрешите кое-что преподнести вам... Я надеюсь... Я уверена...

Короче – вот...

Левицкий принял маленькую жёлтую бандероль. Вскрыл её, достав из кармана маникюрные ножницы. Теперь он держал в руках свою книгу. Старинный шрифт, отклеившийся корешок, тридцать восемь листов ужасной промышленной бумаги.

Он раскрыл шестую страницу. Прочитал заглавие – «Тропинки сна». Вот он, знакомый неграмотный перенос – «смущение». Да ещё с непропечатанным хвостиком у «ща».

– О, Господи, – сказал Левицкий, – чудо! Где вы это достали? Я был уверен, что экземпляров не существует. Я разыскивал их по всему миру...

– Возьмите, – сказала Регина, – и ещё...

Она достала из сумки рукопись в узком конверте. Левицкий учтиво ждал. Давно разработанным усилием он подавил страдальческую гримасу на лице. Потом спросил:

– Это ваше?

Регина отвечала с должной небрежностью.

– Это мои последние рассказы. Не лучшие, увы. Хотелось бы... Если это возможно... Короче, ваше мнение... Буквально в двух словах...

– Вас интересует письменный отзыв?

– Да, знаете ли, буквально три слова... Независимо от...

– Я пришлю вам открытку.

– Замечательно. Мой адрес на последней странице.

Левицкий привстал:

– А теперь, извините меня. Процедуры.

Звякнув ложечкой, Регина отодвинула чашку. «Мог бы поинтересоваться, где я остановилась...»

Левицкий поцеловал ей руку:

– Спасибо. Боюсь, мои юношеские стихи не заслуживали ваших хлопот.

Он кивнул и направился в сторону лифта. Регина, нервно закуривая, пошла к вертящейся двери.

Левицкий поднялся на третий этаж. У порога своего номера остановился. Вынул из конверта рукопись. Оторвал клочок бумаги с адресом. Сунул его в карман байковых штанов. Приподнял никелированный отвес мусоропровода. Подержал на ладони маленькую книжку и затем торжествующе уронил её в гулкую черноту. Туда же, задевая стенки мусоропровода, полетела рукопись. Он успел заметить название «Лето в Карлсбаде». Мгновенно родился текст:

«Прочитал ваше тёплое ясное “Лето” – дважды. В нём есть ощущение жизни и смерти. А также – предчувствие осени. Поздравляю...»

Он зашёл в свой номер. Тотчас позвонил кухарке и сказал:

– Сыграем в акулину?

*1980-е*

*И.Бродский*

\* \* \*

Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам,  
вдоль берёзовых рощ, отбежавших во тьме, к треугольным домам,  
вдоль оврагов пустых, по замёрзшей траве, по песчаному дну,  
освещённый луной, и её замечая одну.

Гулкий топот копыт по застывшим холмам – это не с чем сравнить,  
это ты там, внизу, вдоль оврагов ты вьёшь свою нить,  
там куда-то во тьму от дороги твоей отбегает ручей,  
где на склоне шуршит твоя быстрая тень по спине кирпичей.

Ну и скачет же он по замёрзшей траве, растворяясь впотьмах,  
возникая вдали, освещённый луной, на бескрайних холмах,  
мимо чёрных кустов, вдоль оврагов пустых, воздух бьёт по лицу,

говоря сам с собой, растворяется в чёрном лесу.  
Вдоль оврагов пустых, мимо чёрных кустов, – не отыщется след,  
даже если ты смел и вокруг твоих ног завивается свет,  
всё равно ты его никогда ни за что не сумеешь догнать.  
Кто там скачет в холмах... я хочу это знать, я хочу это знать.

Кто там скачет, кто мчится под хладною мглой, говорю,  
одиноким лицом обернувшись к лесному царю, –  
обращаюсь к природе от лица треугольных домов:  
кто там скачет один, освещённый царицей холмов?  
Но еловая готика русских равнин поглощает ответ,  
из распахнутых окон бьёт прекрасный рояль, разливается свет,  
кто-то скачет в холмах, освещённый луной, возле самых небес,  
по застывшей траве, мимо чёрных кустов. Приближается лес.

Между низких ветвей лошадиный сверкнёт изумруд.  
Кто стоит на коленях в темноте у бобровых запруд,  
кто глядит на себя, отражённого в чёрной воде,  
тот вернулся к себе, кто скакал по холмам в темноте.  
Нет, не думай, что жизнь – это замкнутый круг небылиц,  
ибо сотни холмов – поразительных круп кобылиц,  
из которых в ночи, но при свете луны, мимо сонных округ,  
засыпая во сне, мы стремительно скачем на юг.

Обращаюсь к природе: это всадники мчатся во тьму,  
создавая свой мир по подобию вдруг твоему,  
от бобровых запруд, от холодных костров пустырей  
до громоздких плотин, до безгласной толпы фонарей.  
Всё равно – возвращенье... Всё равно даже в ритме баллад  
есть какой-то разбег, есть какой-то печальный возврат,  
даже если Творец на иконах своих не живёт и не спит,  
появляется вдруг сквозь еловый собор что-то в виде копыт.

Ты, мой лес и вода! кто объедет, а кто, как сквозняк,  
проникает в тебя, кто глаголет, а кто обиняк,  
кто стоит в стороне, чьи ладони лежат на плече,  
кто лежит в темноте на спине в леденящем ручье.  
Не неволь уходить, разбираться во всём не неволь,  
потому что не жизнь, а другая какая-то боль  
приникает к тебе, и уже не слышать, как приходит весна,  
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно маятник сна.  
1962